

Разверни же, Вечный, над пустыней  
На вечерней тверди темно-синей  
Книгу звезд небесных — наш Коран! <sup>3</sup>

---

У Бунина нет корней в современной русской поэзии. Он стоит в стороне и ничем ей не обязан. Но у него есть глубокая органическая связь с русской прозой: с пейзажем Тургенева и с описаниями Чехова.<sup>4</sup> Точно эта школа интимного пейзажа захотела сжаться, отчеканиться, закристаллизоваться в стихе Бунина. И если мы не находим в нем плавного струящего ритма, которым живут современные русские поэты, то в его прерывистости и неторопливости бесспорно получил стихотворное обобщение многоголосый ритм тургеневских и чеховских описаний.

## ОТКРОВЕНИЯ ДЕТСКИХ ИГР

Времена детства далеки не только годами, они кажутся нам иной эпохой, пережитой на иной планете и в оболочке иного существа.

Самое понятие времени в то время было совершенно иное: каждая минута была сторанием целой жизни, властным водоворотом, которому мы не могли противиться. Количеством пережитого узкие пределы одного дня раздвигались до пределов целого года. Острое ощущение новизны придавало особую сосредоточенность жизни, в которой не было повторений и общих мест. Каждое явление вставало в своей первобытной полноте и громадности, не смягченное никакими привычками. Поэтому, когда мысленно оборачиваемся мы к той поре жизни, нас поражает огромность мгновений и особая медлительность общего течения времени.

Каждый из нас в детстве переживал ту полноту и ту остроту впечатлений бытия, когда все, что вне, настолько смешано с тем, что внутри, что нельзя провести грани между мечтой и действительностью, между жизнью и игрой.

Говорят, что в первые шесть лет ребенок приобретает треть того опыта, что он приобретет за всю свою жизнь. Это неверно: неизмеримо больше!

Человек — сокращение вселенной.

В несколько мгновений зачатия успевают перенестись в молниеносном прообразе вся история вселенной, с ее солнцами и планетами, с ее пляской миров вокруг центрального огня.

В девять месяцев образования физического тела он пробегает от предела до предела животного мира — от протоплазмы до позвоночного, т. е. миллионы лет медленной эволюции.

Каждый входящий в человеческий мир через двери рождения должен повторить вкратце всю историю этого мира.

В момент высвобождения из нутряных оболочек Матери-природы он становится на первую ступень человеческого сознания.

В таком же стремительном сокращении проходит в нем вся история человечества: история всех племен, всех народов, всех погибших цивили-

заций, экстазы всех религий, сны всех мифологий, устремления всех страстей и откровения всех познаний.

История человечества, так несовершенно и с таким трудом нащупанная археологическими и филологическими изысканиями, с таким старанием выверенная критическим сознанием, предстанет нам в совершенно ином и несравненно более точном виде, когда мы подойдем к ней изнутри, разберем письмена той темной книги, которую мы называем своей душой, сознаем жизнь миллиардов людей, смутно рокотавшую в нас, постигнем трепет вечных стораний и вечных возрождений мира, ставший нашим трепетом, нашей болью, нашим знанием.

Когда, вспомнив и связав свое темное детское «Я» со своим взрослым скупым «Я», мы поймем значение всего переживаемого ребенком: мистический смысл его игр, откровения его фантазий, метафизическое значение его смутных воспоминаний, доисторические причины его непонятных поступков, то изменится вся система нашего воспитания<sup>1</sup> и вместо насильственного заполнения его девственной памяти бесполезными и безразличными сведениями, мешающими его работе, мы сами будем учиться у него, следить за его путями и только изредка помогать ему переносить непомерное напряжение его духа.

Ребенок живет полнее, сосредоточеннее и трагичнее взрослого. Он никогда бы не мог вынести напора своих переживаний, если бы они были сознательны.

Наше сознательное Я взрослого человека кажется маленькой прозрачной каплей, в которую разрешился мировой океан, глухо кативший в ребенка свои темные воды.

Подобно дневному свету, что является обычным символом нашего дневного сознания, оно скрывает от нас сияние звезд и млечных путей, которыми освещена душа ребенка.

Наблюдение взрослых над детьми едва ли что может прибавить к знанию детства: здесь единственный живой источник откровений наши собственные воспоминания, чудом донесенные из тех фантастически далеких времен.

Но кто может ясно вспомнить свою бессознательную жизнь? Свидетельства, принесенные путем памяти, бесконечно редки, и это придает им величайшую драгоценность.

И мало еще, чтобы сохранить четкие воспоминания, надо, чтобы они стали *исповедью* души, другими словами, чтобы все бессознательное, детское, органически слилось со взрослым сознанием принесшего это свидетельство.

Между детьми и взрослыми существует непереходимая пропасть.

Английский писатель Кенет Греем, который принес нам недавно одно из самых прекрасных свидетельств о детстве в двух книгах: «Дни грез» и «Золотой возраст», говорит такие справедливые слова о взрослых:

«Они относились к нам с достаточной добротой во всем, что касалось наших телесных нужд, к остальному же были равнодушны (что, по-моему, зависело от некоторой глупости), думая в силу общераспространенного взгляда, что ребенок не более как маленькое животное. Помню, как еще

в очень раннем детстве я вполне бессознательно и добродушно признавал существование этой глупости и ее огромное значение на свете. Вместе с тем у меня росло, как у Калибана в подобном же положении, смутное сознание какой-то правящей силы, своевольной и капризной, всегда готовой выполнять прихоти просто потому, „что я так хочу“. Так, например, силой этой дана была власть над нами этим безнадежно неспособным существам, тогда как разумнее было бы дать нам власть над ними. Эти старшие, которые лишь игрой случая были поставлены выше нас, не внушали нам никакого уважения, а только крошечку зависти к их удаче и сострадание к их полной неспособности пользоваться ею. Самой безнадежной чертой их характера было то, что, имея безграничную свободу пользоваться радостями жизни, они не извлекали из этого ничего, — они могли бы по целым дням плескаться в пруде, гоняться за курами, лазить по деревьям в самых новых воскресных платьях, могли бы стрелять из пушек, раскапывать рудники среди луга... и они ничего этого не делали.

Существование этих олимпийцев казалось лишенным всякого интереса, все движения их были несвободны и медленны, а привычки однообразны и бессмысленны. *Они были слепы ко всему, чего не видно.* Они ничего не знали об индейцах, ничуть не беспокоились о бизонах и пиратах (с пистолетами!), хотя все кругом было полно мрачных предзнаменований. Они не любили разыскивать пещер разбойников и искать кладов.

Мы всегда недоумевали, когда олимпийцы говорили при нас, например, за столом, о разных политических и общественных пустяках, воображая, что эти бледные призраки действительности тоже имели какое-нибудь значение в жизни. Мы же, *посвященные*, ели молча; головы наши были переполнены новыми планами и заговорами; мы бы могли сказать им, что такое настоящая жизнь! Мы только что покинули ее на дворе и горели нетерпением снова вернуться к ней. Эти странные, бескровные существа были куда дальше от нас, чем наши любезные звери, делившие с нами естественную жизнь под солнцем.

И вот олимпийцев давно не стало. Почему-то солнце светит не так ярко, как светило когда-то; бесконечные, пустынные луга как-то сжались и сузились, стали несчастными лужайками в несколько акров. Грустное сомнение, тоскливое подозрение охватывает меня: неужели и я сделался олимпийцем?». <sup>2</sup>

Несравненно более горько высказывается против «взрослых» г-жа Ад. Герцык в своей статье, озаглавленной «Из мира детских игр» (журнал «Русская школа»).

«Мое неизменное преобладающее чувство по отношению к взрослым было разочарование. Бессознательно, но глубоко вкоренилась во мне уверенность, что каждое их слово, объяснение, рассказ обманут мои ожидания, вызовут скуку; что-нибудь в окружающем мире будет убито, обесцвечено, разрушено ими. Конечно, я не отдавала себе ясного отчета в этом чувстве, но инстинктивно охраняла все любимое и интересное мне от губительного прикосновения старших. Сколько я себя помню, я играла всегда, непрерывно, если можно назвать игрой потребность видоизменять все окружающее, одаряя его собственным смыслом и придумывая

ему свои объяснения. Я ни к кому не обращалась с вопросами, зная по опыту, что ответ не удовлетворит меня и безжалостно разобьет то представление, что у меня сложилось о предмете».

То состояние человеческой души, что называется *игрой*, несравненно глубже и обширнее своего имени.

Да, жизнь — игра!  
Один толпой наемников играет,  
Другой — пустым тщеславьем суеверов,  
И может быть, играет кто-то солнцем  
И звездами. . .

Игра и есть то бессознательное прохождение через все первичные ступени развития человеческого духа, то состояние глубокой грезы, подобной сновидению, из которого медленно и болезненно высвобождается дневное сознание реального мира.

Душа ребенка действительно живет охотами, сражениями, кораблекрушениями, пиратами, бизонами, индейцами, пещерами, кладами и разбойниками, которые являются наивными, несознанными символами и иероглифами самых острых переживаний человеческого прошлого.

Кто-то проводит властной рукой душу ребенка через этот иной мир и приковывает к нему их \* внимание с такой силой, что реальность входит в их душу с мучительной напряженностью, как бы неволя их рождаться вторичным, сознательным рождением к реальной действительности.

«Взрослая» г-жа Рашильд имела полное право написать поэтому со своей точки зрения:

«Человечество в период от двух до двенадцати лет являет такие несомненные признаки умственной ненормальности, что слова ребенок и преступник — для меня синонимы».

Можно утверждать, что это основная точка зрения вообще всех взрослых и что на этой формуле основана вся система современного воспитания, которое направлено к тому, чтобы острыми и болезненными впечатлениями действительности оторвать ребенка от его естественного мира грезы, вылечить его от опасного безумия игры.

«Постепенно жизнь резко распалась на две половины, — пишет Ад. Герцык: — одна, в которой мы принимали горячее участие, которая волновала и радовала нас; другая, где мы оставались безучастными зрителями, думая о том, как бы поскорее пережить ее, отбыть ее, как неизбежную повинность. Этой повинностью, докучливой и мучительной, была действительность. Понемногу мы перестали возлагать на нее какие-либо надежды, убедившись в ее бездарности. Надо было, полагаясь только на себя, создать другую, увлекательную и яркую жизнь. И это было бы легко, если бы реальность не вторгалась, на нарушала так часто и грубо созданный фантазией мир. И опять приходилось связывать порванные нити, — и в душе росло раздражение против всего, что мешало нам. Глядя

\* Так в тексте (Ред.).



на окружающее, я прежде всего задавала вопрос, не годится ли оно, как материал, *туда* — в настоящую жизнь?».

Разница между действием игры и действием «жизни» в том, что игра это действие, совершаемое без всякой мысли о его результатах, действие ради наслаждения процессом действия, между тем как «жизнь» взрослых это всегда действие целесообразное, которое сосредоточивает все внимание на его результате, на его последствиях. Взрослые не понимают смысла действия, не направленного к какой-нибудь сознательной цели, и считают действие ради действия «несомненными признаками сумасшествия» и органической преступности.

В этом основном противоречии между игрой и действительностью, составляющем не только первую, но и последнюю, решающую трагедию в жизни человеческого духа, и лежит горький смысл слов: «И может быть, играет кто-то солнцем и звездами», так созвучный вопросу флюберовского Антония: <sup>3</sup> «В чем цель всего этого?». И дьявол отвечает ему: «Нет цели!».

Древнейшая и глубочайшая мудрость жизни, разоблачаемая в индусской «Багават-Гите»,<sup>4</sup> учит тому, что жизнь — игра, что ценно только то действие, что совершено без мысли о его результатах.

«Будь внимателен к совершению своих дел и не думай об их результате. Не предпринимай никакого действия ради его плода, но и не избегай действия.

Одинаково радостно принимай и счастье и горе, выигрыш и потерю, победу и поражение. Будь всей душой в борьбе. Только так избежешь ты греха».

Не тот же ли смысл таится и в словах: «Если не будете как дети. . .».<sup>5</sup>

Эта борьба между свободной игрой и целесообразными реальностями в том или ином проявлении, составляющая содержание детства каждого человека, является той громадной темой, которая до сих пор еще не была затронута в русской литературе.

Широкие эпические панорамы, написанные Аксаковым и Львом Толстым, больше всего дают картину жизни и картину эпохи и отчасти только захватывают сантиментальное отношение ребенка к действительности в виде разлуки с матерью или потери матери. Толстовский же Николинка из «Детства и отрочества», как только в нем пробуждается сознание объективных реальностей мира, немедленно начинает ожесточенно морализировать по точно тем же логическим методам, по которым теперь продолжает морализировать восьмидесятилетний Толстой. Сознание Толстого начинается с различения добра и зла. Игра же чужда морали, она до добра и зла.

Пронзительные страницы, посвященные детству Достоевским в «Братьях Карамазовых» и «Неточке Незвановой», надрывают своей мучительностью. Но его дети страдают страданиями взрослых.

Он берет ребенка только как превосходную степень в той гамме страданий, которую он дерзнул взять с такой полнотой.

Чехов прекрасно описывал детей, пойманных и отмеченных четким оком взрослого человека, но не «вспоминал» себя.

Ни он, ни Достоевский, ни Аксаков, ни Толстой не коснулись детства в его глубинной сущности — этого болезненного высвобождения дневного сознания из материнского лона игры.

Только самое последнее поколение принесло с собою смутную память об этой стороне своего детства.

Несколько страничек Аделаиды Герцык, затерявшихся среди листов педагогического журнала, представляют литературное и психологическое событие, поставившее новую грань в нашем самосознании, к которой всегда придется возвращаться.

А. Герцык описывает ребенка, чья игра — «замкнутый круг, куда не врываются жизненные впечатления».

Такие дети «ревниво, с болезненной страстностью оберегают свою игру. Непонимание взрослых оскорбляет их, заставляя еще глубже замыкаться в себе. Все кругом мешает их замыслам, ни в чем не находят они поддержки, — в них является стремление к одиночеству и отчуждению».

«Сколько я себя помню, — говорит она, — я играла всегда, непрерывно, если можно назвать игрой потребность видоизменять все окружающее, одаряя его собственным смыслом и придумывая ему свои объяснения».

Эта борьба с реальностями жизни была доведена до крайности. Одно из самых глубоких разочарований было испытано ею, когда ее научили читать.

У нее всегда было восторженное уважение к книгам, и ей казалось, что этот священный предмет унизили, лишив его тайны.<sup>6</sup>

«Как? Каждое слово, каждая буква имеют только одно определенное значение? И ничего другого нельзя понять и прочесть в них? Как бы ни нравилась мне книга, я с удивлением и грустью думала: — и это все? Если начать сначала, выйдет опять то же самое? . . . И неудовлетворенная я начинала читать по-своему, „сочинять“ по книге, прибавляя новые черты и детали. Но знакомые буквы мешали сосредоточиться, перебивали течение фантазии, и я выбирала иностранные книги, где меня ничего не отвлекало. До десяти лет я продолжала сочинять по книгам и должна сознаться, что едва ли не главное обаяние их исчезло для меня, когда я убедила себя, что это смешно и стыдно».

В столовой висела большая карта полушарий. Она играла, что это таинственное, никому не понятное изображение, оставшееся от диких племен. «Все внутренние моря, точки, черты, линии рек означали что-нибудь: или оружие моего народа, или его битвы, или число убитых воинов. Сначала меня смутила форма полушарий, но потом я решила, что это год, история за два года, т. к. я всегда представляла себе год круглым. Мне надо было не только придумывать новое, но и повторять прежнее, чтобы не забыть его».

Когда кто-то из взрослых, заметив ее упорное внимание к карте, предложил объяснить, что это такое, она ждала этого разоблачения, как удара, готовая заранее отказаться от него, от этой ненужной истины.

«И то, что я узнала о круглой, вращающейся земле, о частях света и солнечной системе, не обрадовало меня и не вознаградило за разбитую

иллюзию, — полный жизни и интереса предмет потускнел и умер в моих глазах». Позднее, когда в руки ее однажды попала тетрадь, исписанная алгебраическими формулами, она создала целую систему для чтения этих гieroглифов.

Для каждого знака было свое значение. Так, знак радикала обозначал Иоанну д'Арк. Остальные знаки и буквы соответствовали тоже различным историческим именам и событиям. Таким образом по старой тетради алгебраических задач она дешифровала фантастические летописи и сказания.

Эта склонность ума к таким сложным абстракциям и системам, быстро вырастающим из семени первой реальности, воспринятой им, характерна для первобытного — сонного сознания человечества.

В этих трех примерах творческой игры по книгам, написанным на неизвестных языках, по алгебраическому задачку и по географическим картам разоблачается тайный механизм создания мифов, основанный на гениальной щедрости творческих обобщений.

Грань между сонным сознанием мифа и древними сознаниями науки неуловима.

И то и другое сознание исходят от первичных реальностей внешнего познания, подчиняясь некоему закону обратной пропорции: чем ничтожнее доля реальности, заложенная в основу системы, тем богаче и фантастичнее ее формы, чем больше количество фактов, тем система скупее и плотнее.

Сознание представляется чудовищно плодородной почвой: если на нее падает одно зерно реальности, то мгновенно вырастает огромное призрачное дерево, заполняющее ветвями целую вселенную, если же развеять по ней обильный посев реальностей, то встанут многие всходы, будут глушить один другой и останутся мелким, густым и неискоренимым кустарником.

Мифы — великие деревья-призраки, возвращенные в сонном сознании, нуждаются в творческой атмосфере веры. Одно слово сомнения может заставить их уйти обратно в землю, пока они не окрепли в душе целого народа. Игра — это вера, не потерявшая своей переменчивой гибкости и власти. Для игры необходимо, чтобы от слов «пусть будет так. . .» и «давай играть так. . .» вселенная преображалась.

Поэтому слова: «Если скажете с верой горе: приди ко мне. . .»<sup>7</sup> можно сказать и так: «Будем играть так, что гора пришла ко мне», и это будет тоже точно.

Понятия игры, мифа, религии и веры неразличимы в области сонного сознания.

Дети, жизнь которых не обставляется религиозными обрядами и символами, пришедшими свыше, сами создают свои служения и таинства.

Маленький пастух Ретиф де ла Бретонн воздвигает жертвенники богам в пустынных полях, а маленькая Жорж Занд устанавливает культ некоего бога «Карамбы», созданного ею.

Аделаида Герцык дает тонкую и прозрачную картину, разоблачающую возникновение религиозных обрядов:

«Мое детство протекло без всяких религиозных обрядностей. Меня не водили в церковь; у меня не было преданной няни, убеждающей класть земные поклоны в углу детской перед темной иконой и повторять за ней трудные, непонятные слова молитвы. Не было мифической обстановки, которой жаждет душа ребенка, того тайного значения и смысла, который красит и углубляет обыденную жизнь.

Помню себя совсем маленькой в яркое солнечное утро, зажженную солнцем столовую с накрытым чайным столом, на котором ослепительно сверкают серебряные ложечки. Большие еще не встали. Мне сразу бросается в глаза предмет, который я в комнатах никогда не видала: на полу лежит несколько душистых, едва распустившихся березок, и горничная засовывает одну из них в угол за диван.

„Что это? Зачем?“ спрашиваю я. Троицын день — объясняют мне. Мне ново и непонятно это слово; оно мне ничего не говорит, я удивительно быстро и радостно связываю оба представления и только оживленно допытываюсь: „всегда так бывает?“ — „Всегда, — говорит горничная, — а вот вечером пойдем на реку венки в воду кидать“.

Все становится празднично и необычайно в моих глазах. Я хочу помогать расстилать березки, накрывать на стол. Мне дают нести бумажный мешок с сахаром, и я, выпустив его из рук, роняю на пол. Белые кусочки с грохотом рассыпаются и раскатываются на полу, сверкая на солнце. Я стою над ними.

Троицын день. . . березки. . . рассыпанный сахар. . . Все это вместе. . .

„Знаешь, — говорю я радостно маленькой сестре, — это тоже всегда так надо! Каждый раз, когда будет Троицын день, надо рассыпать весь сахар. . . Это всегда так бывает!“ и воодушевленно я ползаю вместе с ней и собираю сахар. Что-то вроде представления о разрушенном сахарном дворце мелькает в моем воображении. Раз в году должны гибнуть все белые сахарные дворцы.

Этот новый обряд, новая случайность, возведенная в обычай, не были забыты. В следующий год, когда наступил Троицын день, в памяти встала прошлогодняя картина, и я во что бы то ни стало упорно жаждала осуществить наш обряд. Нельзя было сделать это при всех, и я, уведя сестру в кладовую и взяв с собою сахарницу, опрокинула ее на пол, и мы опять ползали и подбирали, и было весело. И еще года два помнили и выполняли мы наш бедный бессмысленный обряд, прячась от взрослых, как прячется сектант, совершая свое тайное моление».

Обобщая свое обрядовое творчество, А. Герцык говорит:

«Вспоминая теперь свои детские представления, я вижу, что все они имели в основе случай, стремящийся найти себе санкцию и стать законом. Это была потребность упорядочивать жизнь, давать окружающему чудесные объяснения, чтить непонятную незримую силу и принимать от нее приказания. . .

Перед домом тянулась длинная тополевая аллея; все деревья были одинаково окопаны и подстрижены. Не вынося неосмысленной симметрии и однообразия, мы выделили среди этих деревьев одно, которое властвовало над всеми.



Это „Царское дерево“, как мы его называли, решительно ничем не отличалось от других, и я не знаю, почему было выбрано именно оно. Верно в основе был какой-нибудь случай, указавший высшую волю. Вся аллея ожила, и все стало полно смысла и значения. Проходя мимо „Царского дерева“, я падала ниц на землю, если была одна, если же со мной были взрослые — делала ему тайный знак, выражающий мое почитание.

Вероятно, если бы я росла в набожной среде, меня больше всего привлекала бы обрядовая сторона религии. Мне нужен был этот категорический императив, ни на чем не основанный здесь на земле и про который нельзя спрашивать: откуда он? Во мне жила бессознательная грусть по ярким языческим празднествам древних предков, по жертвенникам, с которых густые черные клубы дыма поднимаются к синему небу, по пестрым процессиям с песнями и в венках, по страху и тайнам, которыми объят был мир. Робко и неумело воссоздавала я обрывки прежнего».

Не менее интересны те страницы, где Ад. Герцк описывает переразвитие своей детской чувствительности, которая приводила к играм жутким, в то же время характерным для детей вообще.

«Долгое время мы любили игру в „пытки“. Как я уже говорила, всякое проявление жестокости неотразимо волнующе и привлекающе действовало на меня, несмотря на то, что я была мягкой, робкой по природе и чувствительной к малейшему страданию.

Вероятно, жестокость влекла меня своим контрастом, как что-то недоступное, — как слабых людей влекут борьба и страсть, все яркое и сильное, все, что не входит в круг их переживаний и что они со страхом устраняют, когда оно приближается, чтобы потом снова среди затихшей усмирной жизни тосковать по нем.

Я боялась пыток и выдумывала их с неиссякаемой фантазией. Толчком к этому послужила „Хижина дяди Тома“. Больше всего потрясло меня в этой книге описание истязаний, которым подвергали негров. Столб от гигантских шагов превращался в нашем воображении в раскаленный железный шест; негров привязывали к веревкам и заносили высоко в воздух. Внизу земля была усеяна камнями, заостренными кверху, так что их ждала неминуемая гибель — или они сторали, ударяясь об раскаленный столб, или, срываясь вниз, падали и разбивались об острые камни. Часами летали мы вокруг столба с висящей вниз головой, в самых мучительных, напряженных позах, искренно ударяясь об столб, падали на песок и лежали неподвижно, раскинувшись, окровавленные, пока воображаемые „истязатели“ не уносили нас и не приводили на смену новую партию негров. Напряженно замирали мы на одном впечатлении и не хотели легкой, быстрой сменой событий разряжать свое напряжение. Надо было успеть поверить, довести страдание до полной реальности».

В начале этих строк есть неверное слово: «Всякое проявление жестокости неотразимо волнующе и привлекающе действовало на меня, *несмотря* на то, что я была робкой по природе и чувствительной к малейшему страданию». С полным правом она могла бы сказать: *потому что* я была чувствительной к малейшему страданию». В этом рассказе особенно харак-

терно то, что ее игра в «пытки» была вызвана книгой, являющейся одним из самых трогательных призывов к человеческому состраданию — «Хижинной дяди Тома».

Здесь невольно приходят на память гневные страницы Шопенгауэра о человеческой жестокости, вызванные книгой, аналогичной книге Бичер-Стоу, покоящейся на тех же фактах и внушенной тем же чувством.

Эта книга — Отчет Северо-Американского Противоневольнического общества, представленный в 1840 году таковому же британскому обществу в ответ на запрос об обращении с невольниками в рабовладельческих Штатах.

«Эта книга представляет собою один из наиболее тяжелых обвинительных актов против человечества. Никто не выпустит ее из рук без ужаса, и редко кто без слез. Книга эта, состоящая из сухих, но подлинных и документальных показаний, до такой степени возмущает всякое человеческое чувство, что вызывает охоту идти с нею в руках проповедовать крестовый поход для обуздания и наказания рабовладельцев. Ибо они позорное пятно на всем человечестве. . . Свидетельства такого рода являются, несомненно, самыми черными страницами в уголовных актах человеческого рода.

Человек, в сущности говоря, — дикое, ужасное животное. Мы знаем его лишь в укрощенном, ручном состоянии, которое именуется цивилизацией: поэтому и приходим мы в такой ужас, когда истинная природа его прорвется иной раз.

Гобино назвал человека „L'animal méchant par excellence“ — самым злым из всех животных. И он был прав: ибо человек единственное животное, причиняющее другим страдание без всякой дальнейшей цели. Если тигра и обвиняют в том, что он губит больше, чем может съесть, то душит он с намерением все сожрать, а это объясняется тем, что „у него глаза больше желудка“, как гласит своеобразный французский оборот.

Ни одно животное никогда не мучит для того только, чтобы мучить, а человек это делает, чему и обязан своим *дьявольским* характером — злее зверского. Поэтому все животные инстинктивно боятся взора, даже следа человека — этого „animal méchant par excellence“.

Поучительно сравнение отношений Шопенгауэра и маленькой девочки к одному и тому же ряду фактов.

И Шопенгауэр и маленькая девочка потрясены совершенно одинаково.

Но:

В Шопенгауэре прежде всего говорит гнев, и недаром он на той же странице цитирует слова Гомера о том, что «гнев слаще меда». Нравственное чувство возмущено в нем до такой степени, что этот уединенный философ и человеконенавистник готов идти «проповедовать крестовый поход для обуздания и наказания рабовладельцев», то есть мстить жестокостью за жестокость, кровью за кровь, истреблять людей, чтобы сделать человечество добродетельным.

В этот тупик неизбежно приводит *взрослого* человека внезапное негодование на «дьявольский» характер человека.

И хотя здесь природная жестокость «самого злого из всех животных» принимает огненный лик Судии и Мстителя, но все же остается тою же звериной жестокостью.

Оправдания для жестокости и злорадства Шопенгауэр не находит:

«В каждом из нас сидит дикий зверь, который только и ждет случая пошвырнуть и понеистовствовать в намерении причинить другим горе или уничтожить их, если они станут поперек дороги. Этот зверь в нас — воля к жизни, которая, все более ослабляясь от вечных страданий жизни, стремится облегчить собственные муки тем, что причиняет их другим».<sup>8</sup>

Маленькая же девочка, принимая в свою душу с равной остротой и мучителей и мучимых, создает в мудром таинстве игры новый трепет, новый блеск бытия.

«Разгоряченные, с болезненным возбуждением приходили мы к обеду, где все было так буднично и безопасно, где всегда одинаково скучно разговаривали взрослые, — и такая бездна лежала между тем, что мы только что пережили, и мирной действительностью, что нельзя было их примирить. И мы стали видеть врага в жизни. После обеда нас тянуло опять к замученным неграм». . .

Здесь в игре, лишенной меча Судии и принимающей явление во всей его цельности, таится высшая мудрость и разрешение антиномии жалости и злорадства в одном волнующем синтезе палача и жертвы.

Наслаждение этой игры основано на мучительстве, но мучительство рождается из нестерпимой жалости, заставляющей слить свое я с душой мучимого.

У Шопенгауэра из зрелища жестокости рождается сострадание, а из сострадания естественно возникает жажда мести, желание отплатить палачам горшею жестокостью — безвыходный круг, в который замыкает человека идея земной справедливости.

«Когда хотят сделать людей добрыми и мудрыми, терпимыми и благородными, то неизбежно приходят к желанию убить их всех». Так формулирует Анатолий Франс этот замкнутый круг справедливости.

Но игра двух маленьких девочек в «пытки» дает указание на то, что жестокость рождается не от «дьявольского» характера человека, а из его *жалости*; и больше того, что существует некое *единое чувство к жизни*, причем жалость и жестокость являются только внешними волевыми и неразделимыми выявлениями его.

Неосознанное еще разумом человека, это чувство не имеет имени в человеческом языке. Но в сонном творчестве детской игры оно является в своем сверхчувственном единстве, отливая радугами обеих полярностей.

И так в откровениях детских игр становится нам понятной тайна того, как самым чувствительным и сантиментальным из поколений Франции был создан Террор и как нестерпимая жалость к еретикам и отступникам христианства рождала застенки Инквизиции.

Истинно жестоким может быть только тот, для кого невыносимо зрелище человеческих страданий. Нет ничего страшнее власти над жизнью и смертью, попавшей в руки людей чувствительных.

· Так в сонном сознании игры можем мы найти разрешение всех нравственных антиномий, непримиримых в нашем дневном сознании.

Так из чувства *стыда* в ребенке пробуждается впервые *чувственность*. . .

Но этот вопрос настолько сложен, что требует отдельного исследования, тем более что этой стороны Ад. Герцык совершенно не касается в своих воспоминаниях.

«Так я жила среди людей, — говорит Ад. Герцык. — Все время видя за ними создание своей фантазии, слыша за их словами речи тех — других, и это слепое лунатическое состояние заслоняло все события жизни. . .

Быть может, если бы я иначе играла в детстве, жизнь моя была бы иной? И как нужно играть, чтобы из игры незаметно развернулась жизнь? . .

Затаенная работа воображения все более развивала пассивную созерцательность, угрюмую жажду одиночества, потребность жить про себя, не нарушая своих дум столкновением с жизнью. Было бы длинно рассказывать, как потом жизнь постепенно, жестоко и мучительно отвоевывала меня назад, с какой болью совершался этот переход и как навсегда осталась я сторонней зрительницей жизни, и каждый призыв ее вызывает боль и протест в моей душе».

Повесть об этом я прочел в «Цветнике Ор» в цикле стихотворений Аделаиды Герцык «Золот ключ». <sup>9</sup> Но едва ли эта уединенная и строгая поэзия будет понятна тому, кто не прочел ее детских воспоминаний.

«В детских играх подобает искать вдохновения и задач всей нашей жизни», гласит эпиграф из Гюйо, служащий фронтисписом к ее воспоминаниям.

## КНЯЗЬ А. И. УРУСОВ

*Кн. А. И. Урусов. Его статьи, письма и воспоминания о нём.  
Издание А. А. Андреевой и О. Б. Гольдовского*

«Есть люди, истинное призвание которых — мыслить, выдумывать, болтать, развеивая эти мысли на воздух, служа миссионерами художественных и других идей. Невидимое сотрудничество таких людей не проходит бесследно. Они являются неведомыми инициаторами многих идей, которыми живут эпохи.

Когда они начинают писать, они берут назад свое дело, нарушают принцип разделения труда. Я, быть может, принадлежу к числу этих бесполезных, но необходимых болтунов и книгонош. Сколько я распространил флюберовских и бодлеровских томов! Ведь это мне зачтется в стране, где зачитываются Сенкевичем и Надсоном». <sup>1</sup>

Эти слова, написанные кн. А. И. Урусовым в одном из писем, — его скромное «*Ehregi monumentum*». . . <sup>2</sup>

Имя знаменитое в анналах русской адвокатуры, а изданием этих двух